

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



АНТОН ЧЕХОВ

Рассказы. Повести. Пьесы



АНТОН ЧЕХОВ

Отец

«Public Domain»

Чехов А. П.

Отец / А. П. Чехов — «Public Domain»,

Антон Павлович Чехов

Отец

– Признаться, я выпивши... Извини, зашел дорогой в портерную и по случаю жары выпил две бутылочки. Жарко, брат!

Старик Мусатов вытащил из кармана какую-то тряпочку и вытер ею свое бритое испитое лицо.

– Я к тебе, Боренька, ангел мой, на минуточку, – продолжал он, не глядя на сына, – по весьма важному делу. Извини, может быть, помешал. Нет ли у тебя, душа моя, до вторника десяти рублей? Понимаешь ли, вчера еще нужно было платить за квартиру, а денег, понимаешь ли... во! Хоть зарежь!

Молодой Мусатов молча вышел и стал за дверью шептаться со своею дачною хозяйкой и с сослуживцами, которые вместе с ним сообща нанимали дачу. Через три минуты он вернулся и молча подал отцу десятирублевку. Тот, не поглядев, небрежно сунул ее в карман и сказал:

– Мерси. Ну, как живешь? Давно уж не видались.

– Да, давно. С самой Святой.

– Раз пять собирался к тебе, да всё некогда. То одно дело, то другое... просто смерть! Впрочем, вру... Всё это я вру. Ты мне не верь, Боренька. Сказал – во вторник отдам десять рублей, тоже не верь. Ни одному моему слову не верь. Никаких у меня делов нет, а просто лень, пьянство и совестно в таком одеянии на улицу показаться. Ты меня, Боренька, извини. Тут я раза три к тебе девчонку за деньгами присылал и жалостные письма писал. За деньги спасибо, а письмам не верь: врал. Совестно мне обирать тебя, ангел мой; знаю, что сам ты едва концы с концами сводишь и акридами питаешься, но ничего я со своим нахальством не поделаю. Такой нахал, что хоть за деньги показывай!.. Ты извини меня, Боренька. Говорю тебе всю эту правду, потому не могу равнодушно твоего ангельского лица видеть.

Прошла минута в молчании. Старик глубоко вздохнул и сказал:

– Угостил бы ты меня пивком, что ли.

Сын молча вышел, и за дверями опять послышался шёпот. Когда немного погода принесла пиво, старик при виде бутылок оживился и резко изменил свой тон.

– Был, братец ты мой, намерен я на скачках, – рассказывал он, делая испуганные глаза. – Нас было трое, и взяли мы в тотализаторе один трехрублевый билет на Шустрого. И спасибо этому Шустрому. На рубль нам выдали по тридцать два рубля. Не могу, брат, без скачек. Удовольствие благородное. Моя бабенция всегда задает мне трепку за скачки, а я хожу. Люблю, хоть ты что!

Борис, молодой человек, белокурый, с меланхолическим неподвижным лицом, тихо ходил из угла в угол и молча слушал. Когда старик прервал свой рассказ, чтобы откашляться, он подошел к нему и сказал:

– На днях, папаша, я купил себе штиблеты, которые оказались для меня слишком узки. Не возьмешь ли ты их у меня? Я уступлю тебе их дешевле.

– Пожалуй, – согласился старик, делая гримасу, – только за ту же цену, без уступок.

– Хорошо. Я тебе это займы даю.

Сын полез под кровать и достал оттуда новые штиблеты. Отец снял свои неуклюжие, бурые, очевидно, чужие сапоги и стал примеривать новую обувь.

– Как раз! – сказал он. – Ладно, пускай у меня остаются. А во вторник, когда получу пенсию, пришлю тебе за них. Впрочем, вру, – продолжал он, вдруг опять впадая в прежний слезливый тон. – И про тотализатор вру, и про пенсию вру. И ты меня обманываешь, Боренька... Я ведь чувствую твою великодушную политику. Насквозь я тебя понимаю! Штиблеты потому оказались узки, что душа у тебя широкая. Ах, Боря, Боря! Всё я понимаю и всё чувствую!

– Вы на новую квартиру перебрались? – прервал его сын, чтобы переменить разговор.

– Да, брат, на новую. Каждый месяц перебираюсь. Моя бабенция со своим характером не может долго на одном месте ужиться.

– Я у вас был на старой квартире, хотел вас к себе на дачу пригласить. С вашим здоровьем вам не мешало бы пожить на чистом воздухе.

– Нет! – махнул рукой старик. – Баба не пустит, да и сам не хочу. Раз сто вы пытались вытащить меня из ямы, и сам я пытался, да ни черта не вышло. Бросьте! В яме и околевать мне. Сейчас вот сижу с тобой, гляжу на твое ангельское лицо, а самого так и тянет домой в яму. Такая уж, знать, судьба. Навозного жука не затащишь на розу. Нет. Однако, братец, мне пора уж. Темно становится.

– Так постоит же, я вас провожу. Мне самому сегодня нужно в город.

Старик и молодой надели свои пальто и вышли. Когда немного погодя они ехали на извозчике, было уже темно и в окнах замелькали огни.

– Обобрал я тебя, Боренька! – бормотал отец. – Бедные, бедные дети! Должно быть, великое горе иметь такого отца! Боренька, ангел мой, не могу врать, когда вижу твое лицо. Извини... До чего доходит мое нахальство, боже мой! Сейчас вот я тебя обобрал, конфужу тебя своим пьяным видом, братьев твоих тоже обираю и конфужу, а поглядел бы ты на меня вчера! Не скрою, Боренька! Сошлись вчера к моей бабенции соседи и всякая шваль, напился и я с ними и давай на чем свет стоит честить вас, моих деточек. И ругал я вас, и жаловался, что будто вы меня бросили. Хотел, видишь ли, пьяных баб разжалобить и разыграть из себя несчастного отца. Такая уж у меня манера: когда хочу свои пороки скрыть, то всю беду на невинных детей взваливаю. Не могу я врать тебе, Боренька, и скрывать. Шел к тебе гоголем, а как увидел твою кротость и милосердие твое, язык прилип к гортани и всю мою совесть вверх тормашкой перевернуло.

– Полно, папаша, давайте говорить о чем-нибудь другом.

– Матерь божия, какие у меня дети! – продолжал старик, не слушая сына. – Какую господь мне роскошь послал! Таких бы детей не мне, непутевому, а настоящему бы человеку с душой и чувствами! Недостоин я!

Старик снял свой маленький картузик с пуговкой и несколько раз перекрестился.

– Слава тебе, господи! – вздохнул он, оглядываясь по сторонам и как бы ища образа. – Замечательные, редкие дети! Три у меня сына, и все как один. Трезвые, степенные, деловые, а какие умы! Извозчик, какие умы! У одного Григория ума столько, что на десять человек хватит. Он и по-французски, он и по-немецки, а говорит, так куда тебе твои адвокаты – заслушаешься... Дети мои, дети, но верю я, что вы мои! Не верю! Ты у меня, Боренька, мученик. Разоряю я тебя и буду разорять... Даешь ты мне без конца, хотя и знаешь, что деньги твои идут не на дело. Намедни присылал я тебе жалостное письмо, болезнь описывал свою, а ведь врал: деньги я у тебя на ром просил. А даешь ты мне потому, что боишься меня отказом оскорбить. Всё это я знаю и чувствую. Гриша тоже мученик. В четверг, братец ты мой, пошел я к нему в присутствие пьяный, грязный, оборванный... водкой от меня, как из погреба. Прихожу прямо, этакая фигура, лезу к нему с подлыми разговорами, а тут кругом его товарищи, начальство, просители. Осрамил на всю жизнь. А он хоть бы тебе капельку сконфузился, только чуточку побледнел, но улыбнулся и подошел ко мне как ни в чем не бывало, даже товарищам отрекомендовал. Потом проводил меня до самого дома и хоть бы одним словом попрекнул! Обираю я его пуще, чем тебя. Взять теперь брата твоего Сашу, ведь тоже мученик! Женился он, знаешь, на полковницкой дочке из аристократического круга, приданое взял... Кажется, не до меня ему. Нет, брат, как только женился, после свадьбы со своею молодою супругой мне первому визит сделал... в моей яме... Ей-богу!

Старик всхлипнул и тотчас же засмеялся.

– А в ту пору, как нарочно, у нас тертую редьку с квасом ели и рыбу жарили, и такая вонь была в квартире, что чёрту тошно. Я лежал выпивши, бабенция моя выскочила к молодым с красною рожей... безобразие, одним словом. А Саша всё превозмог.

– Да, наш Саша хороший человек, – сказал Борис.

– Великолепнейший! Все вы у меня золото: и ты, и Гриша, и Саша, и Соня. Мучу я вас, терзаю, срамлю, обирую, а за всю жизнь не слышал от вас ни одного слова упрека, не видал ни одного косога взгляда. Добро бы, отец порядочный был, а то – тьфу! Не видали вы от меня ничего, кроме зла. Я человек нехороший, распутный... Теперь еще, слава богу, присмирел и характера у меня нет, а ведь прежде, когда вы маленькими были, во мне положительность сидела, характер. Что я ни делал и ни говорил, всё казалось мне, как будто так и надо. Бывало, вернусь ночью домой из клуба пьяный, злой и давай твою покойницу мать попрекать за расходы. Целую ночь ем ее поездом и думаю, что это так и надо; бывало, утром вы встанете и в гимназию уйдете, а я все еще над ней свой характер показываю. Царство небесное, замучил я ее, мученицу! А когда, бывало, вернетесь вы из гимназии, а я сплю, вы не смеете обедать, пока я не встану. За обедом опять музыка. Небось помнишь. Не дай бог никому такого отца. Вам меня бог на подвиг послал. Именно, на подвиг! Тяните уж, детки, до конца. Чти отца твоего и долголетен будешь. За ваш подвиг, может, господь пошлет вам жизнь долгую. Извозчик, стой!

Старик спрыгнул с пролетки и побежал в портерную. Через полчаса он вернулся, пьяно крякнул и сел рядом с сыном.

– А где теперь Соня? – спросил он. – Всё еще в пансионе?

– Нет, в мае она кончила и теперь у Сашиной тещи живет.

– Во! – удивился старик. – Молодец девка, стало быть, в братьев пошла. Эх, нету, Боренька, матери, некому утешаться. Послушай, Боренька, она... она знает, как я живу? А?

Борис ничего не ответил. Прошло минут пять в глубоком молчании. Старик всхлипнул, утерся своей тряпочкой и сказал:

– Люблю я ее, Боренька! Ведь единственная дочь, а в старости лучше утешения нет, как дочка. Повидаться бы мне с ней. Можно, Боренька?

– Конечно, когда хотите.

– Ей-богу? А она ничего?

– Полноте, она сама искала вас, чтоб повидаться.

– Ей-богу? Вот дети! Извозчик, а? Устрой, Боренька, голубчик! Она теперь барышня, деликатес, консуме и всё такое, на благородный манер, и я не желаю показываться ей в таком подлейшем виде. Мы, Боренька, всю эту механику так устроим. Денька три я воздержусь от спиртуозов, чтобы поганое пьяное рыло мое пришло в порядок, потом приду к тебе и ты дашь мне на время какой-нибудь свой костюмчик; побреюсь я, подстригусь, потом ты съездишь и привезешь ее к себе. Ладно?

– Хорошо.

– Извозчик, стой!

Старик опять спрыгнул с пролетки и побежал в портерную. Пока Борис доехал с ним до его квартиры, он еще раза два прыгал, и сын всякий раз молча и терпеливо ожидал его. Когда они, отпустив извозчика, пробирались длинным грязным двором к квартире «бабенции», старик принял в высшей степени сконфуженный и виноватый вид, стал робко крякать и причмокивать губами.

– Боренька, – сказал он заискивающим тоном, – если моя бабенция начнет говорить тебе что-нибудь такое, то ты не обращай внимания и... и обойдись с ней, знаешь, этак, поприветливей. Она у меня невежественна и дерзка, но всё-таки хорошая баба. У нее в груди бьется доброе, горячее сердце!

Длинный двор кончился, и Борис вошел в темные сени. Заскрипела дверь на блоке, пахло кухней и самоварным дымом, слышались резкие голоса. Проходя из сеней через кухню,

Борис видел только темный дым, веревку с развешанным бельем и самоварную трубу, сквозь щели которой сыпались золотые искры.

– А вот и моя келья, – сказал старик, нагибаясь и входя в маленькую комнату с низким потолком и с атмосферой, невыносимо душной от соседства с кухней.

Здесь за столом сидели какие-то три бабы и угощались. Увидев гостя, они переглянулись и перестали есть.

– Что ж, достал? – спросила сурово одна из них, по-видимому, сама «бабенция».

– Достал, достал, – забормотал старик. – Ну, Борис, милости просим, садись! У нас, брат, молодой человек, просто... Мы в простоте живем.

Он как-то без толку засуетился. Ему было совестно сына и в то же время, по-видимому, ему хотелось держать себя около баб, как всегда, «гоголем» и несчастным, брошенным отцом.

– Да, братец ты мой, молодой человек, мы живем просто, без затей, – бормотал он. – Мы люди простые, молодой человек... Мы не то, что вы, не любим пыль в глаза пускать. Да-с... Разве водки выпить?

Одна из баб (ей было совестно пить при чужом человеке) вздохнула и сказала:

– А я через грибы еще выпью... Такие грибы, что не захочешь, так выпьешь. Иван Герасимыч, пригласите их, может, и они выпьют!

Последнее слово она произнесла так: выпьют.

– Выпей, молодой человек! – сказал старик, не глядя на сына. – У нас, брат, вин и ликеров нет, мы попросту.

– Им у нас не ндравится! – вздохнула «бабенция».

– Ничего, ничего, он выпьет!

Чтобы не обидеть отца отказом, Борис взял рюмку и молча выпил. Когда принесли самовар, он молча, с меланхолическим лицом, в угоду старику, выпил две чашки противного чаю. Молча он слушал, как «бабенция» намеками говорила о том, что на этом свете есть жестокие и безбожные дети, которые бросают своих родителей.

– Я знаю, что ты теперь думаешь! – говорил подвыпивший старик, входя в свое обычное пьяное, возбужденное состояние. – Ты думаешь, я опустился, погряз, я жалок, а по-моему, эта простая жизнь гораздо нормальнее твоей жизни, молодой человек. Ни в ком я не нуждаюсь и... и не намерен унижаться... Терпеть не могу, если какой-нибудь мальчишка глядит на меня с сожалением.

После чаю он чистил селедку и посыпал ее луком с таким чувством, что даже на глазах у него выступили слезы умиления. Он опять заговорил о тотализаторе, о выигрышах, о какой-то шляпе из панамской соломы, за которую он вчера заплатил 16 рублей. Лгал он с таким же аппетитом, с каким ел селедку и пил. Сын молча высидел час и стал прощаться.

– Не смею удерживать! – сказал надменно старик. – Извините, молодой человек, что я живу не так, как вам хочется!

Он хорохорился, с достоинством фыркал и подмигивал бабам.

– Прощайте-с, молодой человек! – говорил он, провожая сына до сеней. – Атанде!

В сенях же, где было темно, он вдруг прижался лицом к рукаву сына и всхлипнул.

– Поглядеть бы мне Сонюшку! – зашептал он. – Устрой, Боренька, ангел мой! Я побреюсь, надену твой костюмчик... строгое лицо сделаю... Буду при ней молчать. Ей-ей, буду молчать!

Он робко оглянулся на дверь, за которой слышались голоса баб, задержал рыдание и сказал громко:

– Прощайте, молодой человек! Атанде!